

— Белла Ахатова, это ваше первое выступление в Киеве!

Она царствует в русской лирике последних десятилетий. За ней по праву закрепилась слава тончайшего, изысканнейшего мастера слова, причем чуждого житейским, а тем более — политическим волнениям. Но именно она, в отличие от нынешних поэтов-трибунов, в глупые и опасные годы возвысила свой голос в защиту Андрея Сахарова, помогала отвергнутым и преследуемым. Всюду ценящая и желанная, она объехала, пожалуй, весь мир. И только сейчас впервые перед ней распахнулся Киев. Два сольных выступления в оперном театре — это ли не отрадная встреча? От интервью она обычно отказывается (шутит: «Что я могу сообщить измученному человечеству?»), полагая, что все уже есть в ее книгах. И, видимо, после многочасового бесплодного ожидания в холле гостиницы мы бы так и ушли, но солоно хлебаши, если бы не его же воспетый наш союзник — дождь. В Киеве при всем своестем обманчивом постоянстве, он всегда неожидан. Коварно обрнувшись на город, он прервал ее пешую экскурсию, и промокшая до нитки Белла Ахмадулина была вынуждена вернуться в гостиницу, где и попала в журналистские сети.

— Я действительно здесь ни разу прежде не выступала. Но в Киеве была, специально приезжала, хотя меня, конечно, сюда никто тогда не звал. К этому городу у меня несколько ощущений, и все они очень важны. Дело в том, что человек всегда живет с Киевом в душе, думает о нем, как мы думаем о Риме, Греции, Иерусалиме — как о чем-то изначально. Мысли об Украине — это же и мысли о земле, где подавлялись национальные чувства, язык, который ближе, чем русский, к старославянской основе, так же, как и сербско-хорватский. Это для меня очень важно. Киев — это «столица души, столица печали». Это Булгаков... Это, конечно же, Лесков... Это Ахматова, Мандельштам, Надежда Яковлевна Мандельштам, которая вообще родом отсюда. Мне приходилось быть с ней, особенно в последние годы ее жизни, и она никак не могла забыть этот город. А Виктор Некрасов! Ведь с ним-то в последний раз мы тоже говорили о Киеве, о Булгакове, о Ярославле Мудром. Мы сидели в Париже в кафе «Домого» и как говорили! Я даже ему написала: «Ничто на свете не могло нас разлучить, как двух могов». А еще Параджанов... Он был здесь и претерпевал тяжелые обстоятельства. Ничего хорошего в житейском смысле он в Киеве не ощутил, но искусство его здесь. Все это трагедино. А Пушкин!..

— Киев действительно чрезвычайно насыщен историей и культурой. Но не прискорбно ли, что «мать городов русских» была мачехой для многих деятелей, составивших затем цвет европейской культуры. Бердяев, Волошин, Шестов, Сергей Булгаков... — им несть числа. Все они, связанные с Киевом, затем искали счастья за его пределами: в Москве, Питере, Париже. Быть может, сейчас что-то изменится. По крайней мере, нам трудно вспомнить, чтобы для сольного выступления поэту предоставили не просто зал, а главную сцену республики — оперный театр...

— Для меня действительно огромная честь быть и выступать здесь. Как вольный путешественник я не во все времена имела возможность, а иногда мне вообще нигде не удавалось выступить. Скажем, в 80-м году, когда был полный разгром всему: кто умер, кто уехал.

— Видимо, после «Метрополя»! — Нет, это случилось как-то сразу. За «Метрополь» они уже готовы были меня простить. Но после статьи о Сахарове. Я уехала в деревню и ни о печати, ни о чем другом уже не думала. Высоцкий умер, другие близкие мне люди выехали, а за Георгия Владимова я сама писала письмо: «Ничайше прошу вас... Как и подобает просить... Что бы его выслали. Своей рукой просила об отъезде, поскольку знала, что его должны арестовать. Это как раз тот редкий случай, когда я помимо своей воли «влезла в политику». Было очень тяжело, и тогда даже приходилось зарабатывать деньги своими концертами. По столицам не разрешали выступать, но откуда-то было известно, что в центре нельзя, а в Кишеневе, скажем, можно. Разрешали, чтобы знать: куда она все-таки делась и чем занимается — ведь печататься запрещено, упоминать нельзя. Впрочем, я никогда страстно не стремилась печататься, заниматься легитимизмом. А вот с выступлениями ездила.

— И все-таки двухчасовое сольное чтение под силу не всякому актеру, я уже не говорю — поэту. Наверное, сказывается эстрадная «закалка» 60-х! — Вы знаете, меня постоянно спрашивают о 60-х годах, о ностальгии. Я отвечаю: никогда ни по молодости, ни по страде, ни по сцене я не скучаю. Было время такое: поэты действительно выступали в Лужниках, в Политехническом музее. Но это ничего не значит. Люди собирались не для того, чтобы услышать поэзию в чистом виде, а просто от поэта ждали какого-то ответа. А в это время Иосиф Бродский, например, находился в архангельской ссылке. И мне кажется, это ему больше дало в смысле развития, ощущения себя, чем какое-то условное пребывание на сцене. Но ленинградцы всегда этим отличались — рассчитывали только на читателя, никакого эстрадного акцента. Я же сейчас мало выступаю по другой причине: пишу мало, пишу трудно. Мне кажется, мой круг читателей (которым можно только гордиться) — он не настолько велик, чтобы меня можно было назвать ширпотребом или угодой для широкого слуха, но и не настолько узок, чтобы я почувствовала себя совершенно одинокой. Я не настолько тщеславна, чтобы желать большого успеха. Для меня дорого чистое отношение к поэзии. Я понимаю, как трудно выходить на сцену. Поэтому выходила редко.

— А вот если бы судьба была более благосклонна к шестидесятиникам и эта волна докатилась бы до нас без потерь, то, по-видимому, не было бы теперь того былого единства, общности, как 30 лет назад!

— Понимаете, люди же были разные. Это сейчас говорится, что было нечто единое. Вот Булат Окуджава родился в 1924 году, он из совершенно избитой семьи, только мать после лагерей выжила. Он прошел войну. С другой стороны — Евгений Рейн, замечательный поэт, учитель Бродского. Это очень разные люди — шестидесятники. Некоторые из них стали очень знаменитыми. А потом, кстати, каждому приходилось свою знаменитость расхлебывать разными способами. Одни, продолжая служить идеалам добра, справедливости, антисталинизма, заходили в политику. А это как раз

то, куда войдешь и не вылезешь. И кого туда занесло, все принимают — ведь хотели-то самого лучшего, но поэзия уже как-то сама уходит. Ведь гармония есть наилучшее воплощение художественно-осознанных страданий... Впрочем, все очень индивидуально. Поэты в то время как бы взяли на себя и возымели возможность что-то сказать, возбудив чувство, объединяя людей вокруг, скажем, антисталинских идей. Хотя было все это очень по-верхностно: ведь Сталин — все же деталь огромного устройства.

А где были бы сейчас знаменитости той поры, как прожили бы все это время, скажем, Шукшин и Высоцкий... Великий человек всегда уходит в свой срок. Они прожили с такой силой, исчерпывая свою жизнь до того, что я действительно не знаю, «что если бы да кабы». Они умерли потому, что жизнь кончилась. Никакое сослагательное наклонение к ним неприемлемо. Вот в чем дело. Так с Шукшиным. Мы были разные люди. Дружили. Он страшно мылкался. Можете представить, какое человеку, да еще из деревни, да еще сыну репрессированных! У меня есть об этом записка... У него действительно были комплексы. Пастернак, например, ему казался слишком интеллигентным.

— Это и ныне довольно распространяемое мнение. — Напротив, мне же Пастернак кажется удивительно народным поэтом. Даже в переводах Шекспира меня поражает неимоверное совпадение с народностью. «Бабы, слобожане, уащящиеся, спесря» — он и вправду любил их и все время пытался быть для них понятным. Кстати, у меня было уди-

вы — из другого мира, который ведь мы, пролетариат, победили. И что же я вижу? Что же слышу? Все это непонятно. Я — рабочий. А вы, кто вы такой!..» То письмо Пастернаку было с грамматическими русско-украинскими ошибками, когда же рабочий уже писал мне, то казалось, что за плечами у него — Марбург. И Борис Леонидович прислал ему ответ: «Многоуважаемый, дорогой, какая честь, какая радость, что я получил Ваше письмо... Как Вы справедливо пишете! Знаете, я все время этим мучаюсь. Может быть, виновато мое музыкальное образование... Я сам чувствую, что непонятен, сам понимаю это. Но мне так хочется, и я ищущу способа, чтобы стихи мои были понятны, помогали человеку. Посылаю Вам новые мои стихи, я их пере-

## Белла АХМАДУЛИНА:

Комсомольское знамя - Киев - 1991 - Бинья

# «СЛЫШУ НЕЧТО, ЧТО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗВУК»

читая твои «КОЗЫ»  
дорогие, любил  
те, кто много  
молчал  
меня!  
от всей души  
моей благодарю  
Вам премьеру  
печаль, возмездье  
радость.

Ваша Белла  
Ахмадулина  
27 мая 1991  
в Киеве

печатал на машинке, чтобы Вам удобнее было читать, ибо мой почерк может быть затруднителен для Вас. Только ответьте, пожалуйста. Находите ли Вы, что они немного лучше. Еще раз желаю Вам от всей души... Могу ли я еще чем-то Вам помочь... Рабочий прочел эти стихи, затем прочел стихи какого-то рабочего. Ему показалось, что у Пастернака лучше, о чем он и написал поэту: «Товарищ Пастернак! Получил ваше письмо, прочел. Сейчас очень трудно, поломались паровозы, приходится работать в две смены. Но все равно читаю. Вы знаете, вы пишете лучше...» Мне кажется, критика этого рабочего повлияла на Бориса Леонидовича. Он опять посылает ему письмо и свою новую книгу: «Как Вы ее находите!». И эта переписка длилась до самой смерти Пастернака. Жаль, что я не сумела сохранить письмо с этой драгоценной историей. Впрочем, Шукшин всегда много передумывал, а его старалась втянуть в чтение.

— А он в свою очередь втянул вас в кинематограф!

— Да, хотя когда мне позвонили, я наотрез отказалась сниматься. Шукшин ненавидел городских, и роль журналистки в том сценарии соответствовала его первоначальному замыслу: это была негодяйка, этакая омерзительная городская «шутка». Но по случайному совпадению мне было знакомо 'положение моей будущей героини. Дело в том, что когда меня исключили из Литературного института (в принципе, тоже из-за Пастернака — я не подписала там что-то против него, чего требовали от всех), я оказалась как бы исключенной из жизни. И мне позвонил Сергей Сергеевич Смирнов, отец кинорежиссера Андрея Смирнова, и предложил поехать в Сибирь посмотреть, развеяться. Он понимал, что человека травили ни за что. И я поехала. И была в сущности той же журналисткой, когда проходила по Кузнецкому металлургическому комбинату, смотрела на дымы Новосибирска, которые мне показались, конечно, страшно красивыми. Но я, кстати, уже тогда увидела, что происходит с Байкалом, сибирскими промышленными гигантами, как там люди живут и погибают. Я все это сказала Шукшину. И Вас передумал: из отрицательного персонажа она стала положительным, из городской мерзавки превратилась в застенчивого человека со своей трагедией. Ведь главное, что хороший и кто плохой, а город ли, деревня — это все вздор. И Шукшин сделал фильм иначе. Об этом много написано. Он, конечно, мечтал и дальше снимать, разрывался: писательство, кинематограф...



— Это выдумки. Лучше о Бунине и о себе самом сказал Набоков в «Других берегах». Как они встречались после Нобелевской премии, как шарф не могли выпутать. Но учтите, что разница в возрасте большая — 30 лет. Бунин говорил «пойдемте выпьем рюмочку», а Набоков отказывался. Хотя мы с Набоковым по чуть-чуть выпили.

— А то, что вы так редко даете интервью, — это тоже набоковское неприятие журналистов!

— Что вы, мне просто нечего сообщить измученному человечеству. Все все знают.

— Но поделиться опытом никогда не грех. Например, в той части, как вам все-таки удалось в отличие от старшего поколения наших поэтов и своих современников избежать в своем творчестве стихов о Сталине, героических стройках, мудрых решений!

— Конечно, Анна Андреевна Ахматова писала что-то, чтобы спасти сына. Но ведь все равно это ничего не значит! К тому же, надо учитывать иное время. Когда Сталин подох, я еще училась в школе. К тому же, у меня была возможность много читать. И тогда мы иначе к этому относились. Скажем, человек моего поколения (хотя он и старше) — Василий Аксенов. Представьте опыт Аксенова и мой. У него — посадили родителей, Магадан, брат вообще неизвестно, как и где умер. Кстати, потом мы узнали, что и на самого Аксенова уже к двадцати годам было собрано досье и его должны были уничтожить. Но умер Сталин. Начали возвращаться из лагерей люди. Для меня особенных открытий не было, я все это знала. Аксенов, Войнович, Владимов — люди тяжелого поколения, но все-таки хотелось жить, писать. Замечательны их ранние вещи. Но всякое свободное изъятие души пошло, писателей доводило до протеста. Когда в 56-м году была Венгрия, мы не все еще толком осознали. А вот в 68-м году кончились все иллюзии. Впрочем, собственно иллюзий и не было, а были молодость, радость жить — все-таки успех. Но в 68-м году все кончилось. Пришлось призадуматься. Это был конец молодости моего поколения.

— А с кем из друзей молодости, кроме Битова и Окуджавы, продолжаете дружить!

— Вижуся я со многими, но с Окуджавой мы совладаем по многим обстоятельствам. Со многими мы разошлись по разным причинам, но Булат не изменился: его же не возьмешь ни славы, ни поездками.

— И вы «совпали» даже в получении орденов!

— Это был самый невероятный случай в нашей жизни. Булат Шалвович родился 9 мая 1924 года. Он семнадцати лет пошел добровольцем на войну, был в пехоте. И то, что он выжил, — чудо, Бог спас. Он был ранен, опять вернулся на фронт. И он не любит все эти пошлые разговоры, спекуляции на теме войны. И имеет на это право: ведь он не из тыла, не из интендантов. Он знает, что это такое и никого из убитых не забыл. Просто не приемлет сюсюканий и извращений на эту трагическую тему. Поэтому он очень боялся, что на 60-летие его могут наградить. Так и говорил: «Как ты думаешь, они же не могут насильно дать мне орден!» Мы утешали, как могли: «Нет, Булат, ни в коем случае». Ему действительно ничего не дали и даже не поздравили с днем рождения. А потом мы сидели и курили, а тут приходит с бутылкой шампанского Борис Мессерер, художник (муж Беллы Ахмадулиной. — В. А.), и говорит: «Поздравляю, орден орденов!» Мы сначала решили, что он вообще шутит. На вручении не пошли. Понимаете, мы не хотели никого обидеть, нам их выдали позже. Просто я считаю, что поэту не надо давать ордена.

— Вы сказали, о «перемешанной» крови. И, видимо, к месту будет ставший ныне чуть ли не обязательным вопрос: а знаете ли вы свою родословную!

— Довольно коротко по отцу. Он — Ахмадулин Ахат, дед — Валея, Ахмадула — мой прадед. Ко времени моего рождения отец был если не обрусевшим, то вполне московским, хотя родился в Казани. Кстати, моя мать звала его Аркадием, и только незадолго до смерти я попросила его сказать что-нибудь по-татарски. Он не был на своей родине больше, чем я не была в Казани. Потому что я сначала оказалась там в эвакуации, куда меня отвезли без сознания. Жили мы там по-прежнему плохо, голодно. Но родственники мои казанские говорили со мной по-русски. Я же воспитана на Пушкине и Гоголе. По материнской линии — русская, но тоже много крови намешалось, скажем, моя бабушка — урожденная Стопаня, итальянская кровь. Даже есть какая-то романтическая история о музыканте-шарманщике с обезьянкой. По этой же линии есть врач в Крымской кампании. Дальше мне ничего неизвестно, хотя я интересовалась. Так что орден «Дружбы народов» нам действительно соответствует.

— Но ведь вы еще и «почетный доктор»!

— Я почетный член американской Академии искусств и письменности. Это действительно довольно уважаемое дело, поскольку «почетные» — это люди из других стран. Американцы сделали это трогательно и торжественно. Причем там мы совпали с Апдайком — нас принимали вместе. Мы по этому поводу до вручения немножко выпили, и произошел забавный случай. Когда объявляли его, я тоже встала, поскольку привыкла, что по алфавиту я первая. И мы страшно стукнулись лбами. Рассмеялись, я не придавала этому значения. Но однажды мне это действительно пригодило, когда я писала о Сахарове.

— Вы имеете в виду статью в 80-м в «Нью-Йорк таймс» со словами: «Когда человек заступает за человечество, это значит, что он ничего не боится. Он боится лишь за человечество. Но я человек всего лишь. И я боюсь. Я боюсь за этого человека. И, конечно, за человечество. Но что я смогу сделать!» И если нет других академиков, чтобы заступить за академика Сахарова, то вот я — Белла Ахмадулина, почетный член Американской академии искусств и письменности! Вы виделись с Андреем Дмитриевичем!

— Я с ним много встречалась. Даже с Еленой Георгиевной, когда он был в ссылке. Я ему передавала, в той части, как вам все-таки удалось в отличие от старшего поколения наших поэтов и своих современников избежать в своем творчестве стихов о Сталине, героических стройках, мудрых решений!

— Ну а как вы относитесь к своему нынешнему положению в литературе: ваши произведения входят в антологию, на вас примеряют тогу классика отечественной письменности!

— Власть никогда не были ко мне благорасположенными. Это уж потом, из каких-то своих соображений сделали меня лауреатом. Сейчас действительно что-то происходит. И у меня нет сил. Почему я так устала, если я все это читала! Что, я и впрямь не знала, сколько они убили и все другое! У меня сейчас тоже сматывают в художественной стихии, как никогда. Пишу мало и очень трудно. Отказалась от чего-то, что уже написала и обещала сдать. Но более всего мне обидно за 40-летних. У моих ровесников Битова, Аксенова, Бродского, Войновича ничего не изменилось. Но я жду всегда неожиданного мышления другой, оставаясь классическим, он вобрал в себя нечто новое. Поколение 40-летних особенно интересно. Из них просто замечательная поэтесса из Ленинграда Елена Шаурц. Собственно, вся была затея с «Метрополем» для меня была связана с ними. Есть еще Ольга Седакова, Евгений Попов. Они горюшка тоже хлебнули, но должны окрепнуть.

— А с кем из украинских писателей вы поддерживаете отношения!

— Я знаю очень многих. С Юной Моризц просто училась на одном курсе. Она уроженка Киева а Подола, пишет по-русски. Ей тут трудно было жить. Как и Некрасову. Уж как он обожал Киев, что же, он хотел его покинуть!

— А Чичибабин...

— Да, Борис. Очень близкий мне поэт. Я всегда «подыгрывала», когда ему это было надо. Хотя бы письмом, хотя бы словом. Украинские корни имеет и другой обожаемый мной поэт — Арсений Тарковский. Уже минуло два года после его смерти. Мы всегда страшно радовались друг другу. Вот утверждают, что классик всегда утомителен и тяжел. К Арсению Александровичу, напротив, вообще не приемлемо это поверхностное мнение. У него совершенно отсутствовало тщеславие, хотя его слава была велика. Эта неофициальная слава всегда выше и драгоценнее. У него были сложности всякого рода. Но страдания обретают совершенную ценность, когда они закреплены в искусстве.

— Однако неожиданная смерть сына...

— После смерти в Париже Андрея Арсеньевича мне не велики говорить ему, что сын умер. Его супруга просила, чтобы он даже по глазам не мог догадаться об этом. Но я чувствовала, что он знает, поскольку как-то очень быстро стал сдавать. Он всегда переживал за сына, думал о его творчестве. Это был поэт и человек совершенной чистоты, грации и красоты.

— Ушли крупные мастера. И все заговорили сейчас о кризисе культуры, ее распада.

— У меня нет такого ощущения. Культура не зависит от временных обстоятельств. Жизнь действительно сейчас утомительна и тяжела. Хотя я живу в основном под Ленинградом (меня пускают в Дом композиторов), я ведь все равно вижу, как мыкаются люди, что творится в магазинах. Жизнь невыносимо тяжела. Но есть вечные вещи, они уже не зависят от нас. Вот восторгаются 60-ми: какая жизнь, какие поэты! И как будто забывают, что в то же время травили Пастернака... Я, например, сейчас очень много интересного читаю...

— А какие пути избрали ваши дочери — Елизавета и Анна! Кто-то пошел по вашим стопам!

— Старшей 23 года. Она закончила геофак. А младшей скоро 18. Она что-то пишет. Ее призвал Булат, они разговаривают. Но я не вижу, не амезнаюсь, не направляю. Она непрактична. У нее любопытное окружение — ровесники. Они готовы быть страдальцами за идею. Я думаю, что не их поколение можно надеяться.

Беседу записал В. АНИСИМОВ.

Фото П. Кубанова.